

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Максимилиан, владетельный граф фон Моор.

Карл
Франц } его сыновья.

Амалия фон Эдельрейх.

Шпигельберг
Швейцер
Гримм
Рацман
Шуфтерле
Роллер
Косинский
Шварц } беспутные молодые люди,
потом разбойники.

Герман, побочный сын дворянина.

Даниэль, слуга графа фон Моора.

Пастор Мозер.

Патер.

Шайка разбойников.

Второстепенные действующие лица.

Место действия — Германия;
время — около двух лет.

АКТ ПЕРВЫЙ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Франкония. Зал в замке Мооров.

Франц, старик Моор.

Франц. Здоровы ли вы, отец? Вы так бледны.

Старик Моор. Здоров, мой сын. Ты что-то хотел мне сказать?

Франц. Почта пришла... Письмо из Лейпцига от нашего стряпчего...

Старик Моор (*взволнованно*). Вести о моем сыне Карле?

Франц. Гм, гм! Вы угадали! Но я опасюсь... Право, не знаю... Ведь ваше здоровье... Точно ли вы себя хорошо чувствуете, отец?

Старик Моор. Как рыба в воде! Он пишет о моем сыне? Но что ты так забеспокоился обо мне? Второй раз спрашиваешь меня о здоровье.

Франц. Если вы больны, если чувствуете хоть легкое недомогание, увольте... Я дождусь более подходящей минуты. (*Вполголоса.*) Эта весть не для хилого старца.

Старик Моор. Боже! Боже! Что я услышу?

Франц. Дозвольте мне сперва отойти в сторонку и пролить слезу сострадания о моем заблудшем брате. Я бы должен был вечно молчать

о нем — ведь он ваш сын; должен был бы навеки скрыть его позор — ведь он мой брат. Но повиноваться вам — мой первый, печальный долг. А потому не взыщите...

Старик Моор. О Карл, Карл! Если бы ты знал, как своим поведением ты терзаешь отцовское сердце! Одна-единственная добрая весть о тебе прибавила бы мне десять лет жизни, превратила бы меня в юношу... Но — ах! — каждая новая весть еще на шаг приближает меня к могиле!

Франц. О, коли так, несчастный старик, прощайте! Не то мы еще сегодня будем рвать волосы над вашим гробом.

Старик Моор (*опускаясь в кресло*). Не уходи! Мне осталось сделать лишь один шаг... А Карл... Вольному воля! Грехи отцов взыскиются в третьем и четвертом колене... Пусть добивает!

Франц (*вынимает письмо из кармана*). Вы знаете нашего стряпчего? О, я бы дал отсечь себе руку за право сказать: он лжец, низкий, черный лжец! Соберитесь же с силами! Простите, что я не даю вам самому прочесть письмо. Всего знать вы еще не должны.

Старик Моор. Всё, всё! Сын, ты избавишь меня от немощной старости.

Франц (*читает*). «Лейпциг, первого мая. Не будь я связан нерушимым словом сообщать тебе, любезный друг, все, что узнаю о похождениях твоего братца, мое скромное перо не стало бы так терзать тебя. Мне известно по множеству твоих писем, что подобные вести пронзают твое братское сердце. Я уже вижу, как ты льешь горячие слезы из-за этого гнусного, беспутного...»

Старик Моор закрывает лицо руками.

Видите, батюшка, а ведь я читаю еще самое невинное... «...льешь горячие слезы...» Ах, они текли, они лились солеными ручьями по моим щекам! «Я уже вижу, как твой старый, почтенный отец, смертельно бледный...» Боже! Вы и впрямь побледнели, хотя не знаете еще и малой доли!..

Старик Моор. Дальше! Дальше!

Франц. «...смертельно бледный, падает в кресло, кляня день, когда он впервые услышал лепет: „Отец“. Всего разузнать мне не удалось, а потому сообщаю лишь то немногое, что мне стало известно. Твой брат, как видно, дошел до предела в своих бесчинствах; мне, во всяком случае, не придумать ничего, что уже не было бы совершено им, но, быть может, его ум окажется изобретательнее моего. Вчера ночью, сделав долгу на сорок тысяч дукаатов...» Недурные карманные денежки, отец! «...а до того обесчестив дочь богатого банкира и смертельно ранив на дуэли ее вздыхателя, достойного молодого дворянина, Карл с семьей другими товарищами, которых он вовлек в распутную жизнь, принял знаменательное решение — бежать от рук правосудия». Отец! Ради бога, отец! Что с вами?

Старик Моор. Довольно, перестань, сын мой!

Франц. Я пощажу вас. «Ему вдогонку послана беглая грамота... Оскорбленные вопиют об отомщении. Его голова оценена... Имя Мооров...» Нет! Мой злосчастный язык не станет отцеубийцей. *(Разрывает письмо.)* Не верьте письму, отец! Не верьте ни единому слову!

Старик Моор *(горько плачет)*. Мое имя! Мое честное имя!

Франц *(падает ему на грудь)*. Презренный, трижды презренный Карл! Разве я не предчувст-

вовал этого еще в детстве, когда мы услаждали душу молитвами, а он, как преступник от темницы, отвращал свой взор от Божьего храма, таскался за девками, гонял по лугам и горам с уличными мальчишками и всяким сбродом, выклянчивал у вас монеты и бросал их в шапку первого встречного нищего? Разве я не предчувствовал этого, видя, что он охотнее читает жизнеописания Юлия Цезаря, Александра Великого и прочих столь же нечестивых язычников, чем житие кающегося Тония? Сотни раз я предсказывал вам, — ибо любовь к брату всегда уживалась во мне с сыновним долгом, — что этот мальчик ввергнет нас в позор и гибель. О, если бы он не носил имени Мооров! Если б в моем сердце было меньше любви к нему! Безбожная любовь, которую я не в силах вырвать из своего сердца! Она еще будет свидетельствовать против меня перед престолом Всевышнего.

Старик Моор. О, мои надежды! Мои золотые грезы!..

Франц. Вот именно. Про что же я вам и толкую. Этот пылкий дух, что бродит в мальчике, гонимый вы тогда, делающий его столь чутким ко всему великому и прекрасному, эта искренность, благодаря которой его душа, как в зеркале, отражается в его глазах, эта чувствительность, заставляющая его проливать горючие слезы при виде любого страдания, эта мужественная отвага, подстрекающая его залезать на вершины столетних дубов и вихрем переноситься через рвы, изгороди и стремительные потоки, это детское честолюбие, это непреклонное упорство и прочие блистательные добродетели, расцветающие в сердце вашего любимца, — о, со временем они сделают из него верного друга, примерного гражданина, героя, боль-

шого, великого человека! Вот и полюбуйтесь теперь, отец! Пылкий дух развился, окреп — и что за прекрасные плоды принес он! Полюбуйтесь-ка на эту искренность — как она быстро обернулась наглостью, а чувствительность — как она пригодилась для воркования с кокетками, как живо отзывается она на прелести какой-нибудь Фрины. Полюбуйтесь на этот пламенный дух: за каких-нибудь шесть годков он начисто выжег в нем все масло жизни, и Карл, еще не расставшись с плотью, призраком бродит по земле, а бесстыдники, глаза на него, приговаривают: «C'est l'amour qui a fait ça!»¹ Да, полюбуйтесь на этот смелый, предприимчивый ум, как он замышляет и осуществляет планы, перед которыми тускнеют геройские подвиги всех Картушей и Говардов. А то ли еще будет, когда великолепные ростки достигнут полной зрелости! Да и можно ли ждать совершенства в столь нежном возрасте? И быть может, отец, вы еще доживете до радости видеть его во главе войска, что квартирует в священной тиши дремучих лесов и наполовину облегчает усталому путнику тяжесть его ноши! Может быть, вам еще доведется, прежде чем сойти в могилу, совершить паломничество к памятнику, который он воздвигнет себе между небом и землей! Может быть... О отец, отец, отец! Ищите себе другое имя, или все мальчишки и торговцы, видевшие на лейпцигском рынке портрет вашего сына, станут указывать на вас пальцами.

Старик Моор. И ты тоже, мой Франц? Ты тоже? О, мои дети! Они разят меня прямо в сердце!

Франц. Видите, и я могу быть остроумным. Но мой юмор — жало скорпиона... И вот этот «су-

¹ Это любовь его доконала! (фр.)

хой, заурядный человек», этот «холодный, деревянный Франц» или — не знаю, на какие там еще милые прозвища вдохновляло вас различие между мною и братом, когда он, сидя на отцовских коленях, тербил вас за щеки, — этот Франц умрет в родном углу, истлеет и будет позабыт, в то время как слава того всемирного гения пронесется от полюса к полюсу! О Создатель! (*Молитвенно воздевая руки.*) Холодный, сухой, деревянный Франц благодарит тебя за то, что он не таков, как тот!

Старик Моор. Прости меня, сын мой! Не гневайся на отца, обманутого в своих надеждах! Господь, что заставил меня лить слезы из-за Карла, осушит их твоей рукой, мой милый Франц!

Франц. Да, отец, я осушу их. Франц готов пожертвовать своей жизнью, чтобы продлить вашу. Ваша жизнь — для меня оракул, которого я вопрошаю перед любым начинанием; зеркало, в котором я все созерцаю. Для меня нет долга, даже самого священного, которого бы я не нарушил, когда дело идет о вашей бесценной жизни. Верите ли вы мне?

Старик Моор. На тебя лягут еще и другие обязанности, сын мой. Господь да благословит тебя за то, чем ты был для меня и чем будешь.

Франц. Скажите, если бы вы того сына не должны были называть сыном, почли бы вы себя счастливым?

Старик Моор. Молчи! О, молчи! Когда повивальная бабка впервые подала мне его, я высоко его поднял и воскликнул: «Разве я не счастливый человек!»

Франц. Так вы сказали, да не так оно вышло. Теперь вы завидуете последнему из ваших крестьян, что он не отец такого сына. Нет, вам не избыть

горя, покуда у вас есть этот сын. Оно станет зреть вместе с Карлом. Оно подточит вашу жизнь.

Старик Моор. О, оно уже сделало меня восьмидесятилетним старцем!

Франц. Итак... А что, если вы отречетесь от этого сына?

Старик Моор (*вздрагивая*). Франц! Франц! Что ты говоришь?

Франц. Но разве не любовь к нему заставляет вас так страдать? Без этой любви он для вас не существует. Без этой преступной, проклятой любви он мертв для вас, никогда не родился. Не плоть и кровь — сердце делает нас отцами и детьми. Если вы его не любите, этот выродок уже не сын вам, хоть бы он и был плотью от плоти вашей. Доныне он был для вас зеницею ока, но «аще соблазняет тебя око, — гласит Писание, — вырви его вон». Лучше с одним глазом в раю, нежели с двумя в геенне огненной. Лучше бездетным предстать Господу, нежели обоим, отцу и сыну, низринуться в ад. Так глаголет Бог!

Старик Моор. Ты хочешь, чтобы я проклял моего сына?

Франц. Нет, нет! Вам незачем проклинать сына! Кого вы зовете своим сыном? Того, кому вы дали жизнь и кто делает все, чтобы сократить вашу?

Старик Моор. О, ты прав, ты прав! Это суд Божий надо мною! Господь избрал его своим орудием.

Франц. Полюбуйтесь же на сыновние чувства вашего любимца! Он душит вас вашим же отеческим снисхождением, убивает вас вашей же любовью. Он подкупил ваше отчее сердце, чтобы оно отказалось служить вам. Не станет вас — и он хо-

зьяин ваших земель, властелин своих страстей! Плотина рухнула, и поток его вожделиний мчится, не встречая препон. Поставьте себя на его место! Как часто должен он призывать смерть на своего отца, на своего брата, безжалостно преграждающих дорогу его распутству. И это — любовь за любовь? И это — сыновняя благодарность за отцовскую кротость, когда мгновенному приливу похоти он жертвует десятью годами вашей жизни, когда, обураваемый сладострастием, он ставит на карту славу своих предков, не запятнанную на протяжении семи столетий? И его вы называете сыном? Ответьте! Его — своим сыном?

Старик Моор. Безжалостное дитя! Ах, но все же мое дитя!

Франц. Мое дитя! Милое, прелестное дитя, которое только о том и думает, как бы поскорее осиротеть. О, когда же вы это поймете! Когда спадет пелена с ваших глаз! Ведь ваша снисходительность позволит ему закоренеть в разврате, ваше потворство послужит ему оправданием. Правда, так вы отведете проклятие, тяготеющее над его головой, но на вас, на вас, отец, падет оно тогда.

Старик Моор. Да, ты прав! Мой грех, мой грех!

Франц. Сколько тысяч людей, жадно пивших из чаши наслаждений, искупили свои грехи страданием! И разве телесный недуг, спутник всяких излишеств, — не есть перст Божий? Вправе ли человек своей жестокой мягкостью отвращать этот перст? Вправе ли отец навеки погубить залог, врученный ему небом? Подумайте, отец: если вы хоть на время отступитесь от Карла, не будет ли он вынужден исправиться и обратиться на путь истины? Если же он и в великой школе несчастья останет-

ся негодяем, тогда горе отцу, потворством и мягкосердечием разрушившему предназначения высшей мудрости! Ну как, отец?

Старик Моор. Я напишу, что лишаю его отцовской поддержки.

Франц. Вы поступите правильно и разумно!

Старик Моор. И чтобы он мне и на глаза не показывался.

Франц. Это окажет спасительное действие.

Старик Моор (*нежно*). Покуда не исправится.

Франц. Хорошо, очень хорошо! А ну как он вернется, прикрывшись личиной добродетели, выплачет у вас сострадание, выклянчит прощение, а назавтра уйдет и в объятиях распутниц станет насмехаться над вашей слабостью?.. Но нет, нет, отец! Он вернется по доброй воле, лишь когда совесть перестанет упрекать его.

Старик Моор. Так я ему и напишу.

Франц. Погодите! Еще одно, отец! Я боюсь, как бы в гневе у вас не сорвалось с пера слишком жестокое слово; оно смертельно ранит его сердце. И вдобавок не сочтет ли он прощением уже то, что вы удостоили его собственноручного письма? А потому не лучше ли вам поручить это мне?

Старик Моор. Хорошо, сын мой! Ах! Это и вправду разбило бы мое сердце. Напиши ему.

Франц (*быстро*). Значит, так тому и быть?

Старик Моор. Напиши ему, что ручьи кровавых слез, что тысячи бессонных ночей... Но не доводи моего сына до отчаяния!

Франц. Не хотите ли прилечь, отец? Все это так потрясло вас.

Старик Моор. Напиши ему, что отцовское сердце... Но повторяю тебе: не доводи моего сына до отчаяния! (*Уходит опечаленный.*)

Франц *(со смехом глядя ему вслед)*. Утешься, старик! Ты никогда уж не прижмешь его к своей груди! Путь туда ему прегражден, как аду путь к небесам. Он был вырван из твоих объятий, прежде чем ты успел подумать, что сам того пожелаешь. Жалким был бы я игроком, если б мне не удалось оторгнуть сына от отцовского сердца, будь он прикован к нему даже железными цепями. Я очертил тебя магическим кругом проклятий, которого ему не переступить! В добрый час, Франц! Нет больше любимого сынка — поле чисто! Надо, однако, подобрать эти клочки, а то кто-нибудь еще узнает мою руку. *(Собирает клочки разорванного письма.)* Теперь горе живо приберет старика. Да и у нее из сердца я вырву этого Карла, хотя бы вместе с ним пришлось вырвать половину ее жизни. У меня все права быть недовольным природой — и, клянусь честью, я воспользуюсь ими. Зачем не я первый вышел из материнского чрева? Зачем не единственный? Зачем природа взвалила на меня это бремя уродства? Именно на меня? Словно она обанкротилась перед моим рождением. Почему именно мне достался этот лапландский нос? Этот рот, как у негра? Эти готтентотские глаза? В самом деле, мне кажется, что она у всех людских пород взяла самое мерзкое, смешала в кучу и испекла меня из такого теста. Ад и смерть! Кто дал ей право одарить его всем, все отняв у меня? Разве может кто-нибудь задобрить ее, еще не родившись, или разобидеть, еще не увидев света? Почему она так предвзято взялась за дело? Нет, нет! Я несправедлив к ней. Высадив нас, нагих и жалких, на берегу этого безграничного океана — жизни, она дала нам изобретательный ум. Плыви, кто может плыть, а нелов-

кий — тони! Меня она ничем не снабдила в дорогу. Все, чем бы я ни стал, будет делом моих рук. У всех одинаковые права на большое и малое. Притязание разбивается о притязание, стремление о стремление, мощь о мощь. Право на стороне победителя, а закон для нас — лишь пределы наших сил.

Существуют, конечно, некие общепринятые понятия, придуманные людьми, чтобы поддерживать пульс миропорядка. Честное имя, право же, ценная монета: можно неплохо пожить, умело пуская ее в оборот. Совесть — о, это отличное пугало, чтобы отгонять воробьев от вишневых деревьев, или, вернее, ловко составленный вексель, который выпутает из беды и банкрота.

Что говорить, весьма похвальные понятия! Дураков они держат в решпекте, чернь под каблуком, а умникам развязывают руки. Шутки в сторону, — забавные понятия! Напоминают мне плетни, которыми наши крестьяне так хитро обносят свои поля, чтобы, сохрани боже, по ним не пробежал какой-нибудь заяц. Заяц — вот именно! Но барин прищипоривает коня и мягко скачет по блаженной памяти жатве. Бедный заяц! Жалкий удел быть зайцем на этом свете! Но зайцы-то и нужны господину.

Итак, скачи смелей! Кто ничего не боится — не менее силен, чем тот, кого боятся все. Нынче в моде пряжки на панталонах, позволяющие, по желанию, то стягивать, то распускать их. Мы велим сшить себе и совесть по новому фасону, — чтобы пошире растянуть ее, когда раздобреем! Наше дело сторона! Обратитесь к портному! Мне столько ввали про так называемую кровную любовь, что у иного честного дурака голова пошла бы кругом.

«Это брат твой!» Переведем на язык рассудка: он вынут из той же печи, откуда вынули и тебя, а посему он для тебя... священен. Вдумайтесь в этот мудренейший силлогизм, в этот смехотворный вывод: от соседства тел к гармонии душ, от общего места рождения к общности чувств, от одинаковой пищи к одинаковым склонностям. И дальше: «Это твой отец! Он дал тебе жизнь, ты его плоть и кровь, а посему он для тебя... священен». Опять хитрейший силлогизм! Но спрашивается, почему он произвел меня на свет? Ведь не из любви же ко мне, когда я еще только должен был стать *собою*. Да разве он меня знал до того, как меня смастерил? Или он хотел сделать меня таким, каким я стал? Или, желая сотворить именно меня, знал, что из меня получится? Надеюсь — нет: иначе мне пришлось бы наказать его за то, что он все-таки произвел меня на свет. Уж не возблагодарить ли мне его за то, что я родился мужчиной? Так же бессмысленно, как жаловаться, если бы я оказался женщиной! Могу ли я признавать любовь, которая не основана на уважении к моему «я»? А какое могло здесь быть уважение к моему «я», когда это «я» само возникло из того, чему бы должно было служить предпосылкой? Где же тут священное? Уж не в самом ли акте, благодаря которому я возник? Но он был не более как скотским удовлетворением скотских инстинктов. Или, быть может, священен результат этого акта? Но от него бы мы охотно избавились, не грози это опасностью нашей плоти и крови. Или я должен прославлять отца за то, что он меня любит? Но ведь это — только тщеславие, первородный грех всех художников, кичащихся своим произведением, даже если оно безобразно.

Вот вам и все колдовство, которое вы так прочно окутали священным туманом, чтобы во зло употребить нашу трусость. Неужто же и мне, как ребенку, ходить на этих помочах? Итак, живо! Смелее за дело! Я выкорчую все, что преграждает мне дорогу к власти. Я буду властелином и силой добьюсь того, чего мне не добиться располагающей внешностью. (*Уходит.*)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Корчма на границе Саксонии. Карл Моор, углубленный в чтение. Шпигельберг пьет за столом.

Карл Моор (*закрывает книгу*). О, как мне гадок становится этот век бездарных борзописцев, когда я читаю в моем милом Плутархе о великих мужах древности.

Шпигельберг (*продолжая пить, ставит перед ним стакан*). Почитай-ка лучше Иосифа Флавия!

Карл Моор. Сверкающая искра Прометея погасла. Ее заменил плаунный порошок — театраль- ный огонь, от которого не раскуришь и трубки. Вот они бегают теперь, как крысы по палице Геркуле- са, и ломают себе головы над загадкой: что за сок за такой содержался в семеннике этого богатыря? Французский аббат утверждает, что Александр был жалким трусом; чахоточный профессор, при каждом слове подносящий к носу флакончик с нашатырем, читает лекции о силе; молодчики, кото- рые, единожды сплутовав, готовы тут же упасть в обморок от страха, критикуют тактику Ганнибала; желторотые мальчишки выуживают фразы о бит-

ве при Каннах и хнычут, переводя тексты, повествующие о победах Сципиона.

Шпигельберг. Это называется «скулить по-александрийски».

Карл Моор. Недурная награда за пот, лившийся с вас в битвах: вы живете теперь в гимназиях, и школьники нехотя таскают в ранцах ваше бессмертие! Недурное вознаграждение за щедро пролитую кровь — пойти на обертку грошовых пряников в лавке нюрнбергского торгаша или, в случае особой удачи, попасть в руки французскому драматургу, который поставит вас на ходули и начнет дергать за веревочки! Ха-ха-ха!

Шпигельберг (*нет*). Почитай-ка Иосифа, прошу тебя.

Карл Моор. Пропади он пропадом, этот хилый век кастратов, способный только пережевывать подвиги былых времен, поносить в комментариях героев древности или корезить их в трагедиях. В его чреслах иссякла сила, и людей плодят теперь с помощью пивных дрожжей!

Шпигельберг. Нет! Чай, братец, чай!

Карл Моор. Они калечат свою здоровую природу пошлыми условностями, боятся осушить стакан вина: а вдруг не за того выпьешь, подхалимничают перед последним лакеем, чтобы тот замолвил за них словечко его светлости, и травят бедняка, потому что он им не страшен; они до небес превозносят друг друга за удачный обед и готовы друг друга отравить из-за подстилки, которую у них перехватили на аукционе. Они проклинают саддукея за то, что неусердно посещает храм, а сами подсчитывают у алтаря свои ростовщические проценты; они преклоняют колена, чтобы попышнее распус-

тять свой плащ, и не сводят глаз с проповедника, высматривая, как завит у него парик; они падают в обморок, увидев, как режут гуся, и рукоплещут, когда их конкурент обанкротится на бирже. Как горячо жал я им руку: «Один только день!» Тщетно: «В тюрьму собаку!» Мольбы, клятвы, слезы!.. *(Топая ногой.)* О, силы ада!

Шпигельберг. И все из-за каких-то паршивых двух тысяч дукатов.

Карл Моор. Нет! Я не хочу больше об этом думать! Это мне-то сдать свое тело шнуровкой, а волю зашнуровать законами? Закон заставляет ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом! Закон не создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает гигантов и высокие порывы. Проникши в брюхо тирана, они потворствуют капризам его желудка и задыхаются от его ветров! О, если бы дух Германа восстал из пепла! Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой, перед которой и Рим и Спарта покажутся женскими монастырями. *(Бросает шпагу на стол и встает.)*

Шпигельберг *(вскакивая)*. Bravo, брависсимо! Вот ты и дошел до моей мысли! Я сейчас шепну тебе на ухо, Моор, то, что уже давно засело мне в голову. Ты для такого дела самый подходящий человек! Пей, братец, пей! Что, если нам объявить себя иудеями и восстановить Иудейское царство?

Карл Моор *(хохочет во все горло)*. А! Я вижу, ты собрался вывести из моды крайнюю плоть, потому что твоя уже сделалась добычей цирюльника?

Шпигельберг. Чтоб тебя, окаянный! Со мной и вправду случилась такая оказия. Но признайся, что это хитрый и отважный план. Мы издадим ма-

нифест, разошлем его на все четыре стороны света и призовем в Палестину всех, кто не жрет свиного мяса. Там я документально доказываю, что Ирод-тетрарх — мой предок, и так далее и так далее. Тот начнет ликование, братец, когда они опять почувствуют почву под ногами и примутся за отстройку Иерусалима. И тут, пока железо горячо, гони турок из Азии, руби ливанские кедры, строй корабли, сбывай кому попало старье и обноски! Тем временем...

Карл Моор (*улыбаясь, берет его за руку*).
Полно, друг, пора бросить дурачества.

Шпигельберг (*озадаченно*). Тьфу, пропасть! Уж не хочешь ли ты разыграть из себя блудного сына? Ты, удалец, написавший шпагой на физиономиях больше, чем три писца в високосный год успеют написать в приказной книге?.. Уж не напомнить ли тебе о пышном собачьем погребении? Ладно же! Я воскрешу в твоей памяти твой собственный образ. Быть может, это вошьет огонь в твои жилы, раз уж ничто другое тебя не вдохновляет. Помнишь еще, как господина из магистрата приказали отстрелить лапу твоей медалянкой суке, а ты в отместку предписал пост всему городу? Все готали над твоим рескриптом; но ты, не будь дурак, велишь скупить все мясо в городе, так что через восемь часов во всей округе не сыскать даже обглоданной кости и рыба начинает подниматься в цене. Магистрат, бюргеры алчут мести! Тысяча семьсот наших ребят выстроились мигом, ты во главе, а позади мясники, разносчики, трактирщики, цирюльники и портные — словом, все цеха, готовые в щепы разнести город, если кого-нибудь из наших хоть пальцем тронут. Ну, тем, конечно, и

пришлось повернуть оглобли. Ты немедленно созываешь докторов — целый консилиум — и сулишь три дуката тому, кто пропишет собаке рецепт. Мы страшились, что у господ врачей хватит гордости заупрямиться и отказаться, и уж готовы были применить силу. Как бы не так! Почтенные медики передрались из-за трех дукатов и живо сбили цену до трех баценов; в минуту появилась добрая дюжина рецептов, так что сука тут же и околела.

Карл Моор. Подлецы!

Шпигельберг. Погребение совершается с отменным великолепием; надгробных речей, восхваляющих пса, не обобратся. И вот среди ночи мы, чуть ли не тысяча человек, выстраиваемся, каждый с фонарем в одной и рапирой в другой руке, да так, под колокольный звон, бряцая оружием, и проходим через весь город до места последнего упокоения собаки. Затем до самого рассвета идет жратва. Наконец ты встаешь, благодаришь за участие и велишь пустить в продажу остатки мяса за полцены! *Mort de ma vie!*¹ Мы глядели на тебя с не меньшим почтением, чем гарнизон завоеванной крепости глядит на победителя.

Карл Моор. И тебе не стыдно этим похвальнось? У тебя хватает совести не стыдиться таких проделок?

Шпигельберг. Молчи, молчи! Ты больше не Моор. Не ты ли за бутылкою вина тысячи раз насмеялся над старым скрягой, приговаривая: «Пусть себе копит да скряжничает, а я буду пить так, что небу станет жарко!» Ты это помнишь? Хе-хе! Помнишь? Эх ты, бессовестный, жалкий хвас-

¹ Клянусь честью! (*фр.*)

тунишка! Это было сказано по-молодецки, по-дворянски, а нынче...

Карл Моор. Будь проклят ты за то, что напоминаешь мне об этом! Будь проклят я, что говорил так! Но это я говорил в винном чаду: сердце не слышало, что болтал язык.

Шпигельберг (*качая головой*). Нет! Нет! Нет! Не может быть! Не верю, что ты говоришь серьезно. Скажи, братец, уж не нужна ли настроила тебя на подобный лад? Дай-ка я расскажу тебе один случай из моего детства. Возле нашего дома находился ров шириной ни много ни мало футов в восемь, и мы, ребята, бывало, взапуски стараемся через него перескочить. Да все напрасно. Хлоп! — и ты лежишь на дне, а вокруг крик, хохот, всего тебя закидают снежками. У соседнего дома сидела на цепи собака, такая злющая тварь, что девкам просто прохода не было: чуть зазеваются, она и хватъ за юбку! Лучшей моей утехой было чем ни попадя дразнить собаку. Я прямо подыхал со смеху, когда эта бестия уставится на меня, кажется, так и ринулась бы, кабы не цепь. И что же случилось? Раз как-то я опять взялся за свои проделки и угодил ей камнем в ребро; она в бешенстве сорвалась с цепи и прямо на меня. Черт подери! Я помчался сломя голову, но вот беда — проклятый ров как раз передо мной. Что делать? Собака гонится по пятам. Размышлять тут некогда. Я разбежался — скок — и перемахнул через ров. Этому прыжку я обязан жизнью. Пес разорвал бы меня в куски.

Карл Моор. К чему ты клонишь?

Шпигельберг. К тому, что силы растут с нуждой... Вот почему я никогда не трушу, когда доходит до крайности. Мужество растет с опасностью:

чем туже приходится, тем больше сил. Судьба, верно, хочет сделать из меня великого человека, раз так упорно ставит мне преграды.

Карл Моор (*досадливо*). Право, не знаю, на что нам еще мужества и когда нам его не хватало?

Шпигельберг. Ах, так? Значит, ты хочешь, чтобы твои способности пошли прахом? Хочешь зарыть свой талант в землю? Может, ты воображаешь, что твои лейпцигские шалости — предел человеческого остроумия? Нет, голубчик, пустимся-ка в свет: в Париж и в Лондон, где можно живо заработать оплеуху, назвав кого-нибудь честным человеком. Душа радуется, как там поставлено дело! Ты, брат, рот разинешь, глаза вытаращишь! А как там поддельывают подписи, передергивают карты, взламывают замки и вытряхивают требуху из сундуков! Этому, брат, поучись у Шпигельберга! На виселицу того каналью, который согласен голодать, имея ловкие руки!

Карл Моор (*рассеянно*). Как! Ты уже и на это пошел?

Шпигельберг. Чего доброго, ты мне не веришь? Постой, дай мне только развернуться! Ты увидишь чудеса! У тебя голова пойдет кругом, когда мой изобретательный ум с воем разрешится от бремени! (*Встает, с жаром.*) Как все во мне проясняется! Великие мысли занимают в душе моей! Гигантские планы бродят в моем творческом мозгу! (*Ударяет себя по лбу.*) Будь проклята сонная одурь, которая до сей поры сковывала мои силы, преграждала мне путь, мешала моим начинаниям! Но вот я просыпаюсь, я сознаю, кто я такой и кем должен стать.

Карл Моор. Ты дурак! Это вино в тебе колотит.

Шпигельберг (*все более разгорячаясь*). Шпигельберг, будут говорить, ты чародей, Шпигельберг! Жаль, что ты не сделался генералом, Шпигельберг, скажет король. Ты бы сквозь игольное ушко прогнал всю австрийскую армию! Ах, сетуют доктора, ужасно, непростительно, что этот человек не занялся медициной! Он изобрел бы новый порошок против зоба! Ах, как жаль, что он не захотел быть министром финансов, вздыхают новые Сюлли в своих кабинетах, он бы камни превратил в луидоры! «Шпигельберг! Шпигельберг!» — будут говорить на востоке и западе. Пресмыкайтесь же в грязи, вы, бабье, гадины! А Шпигельберг, расправив крылья, полетит в храм бессмертия.

Карл Моор. Счастливого пути! Карабкайся по позорному столбу на вершину славы. В тени дедовских роц, в объятиях моей Амалии меня ждут иные радости. Еще на прошлой неделе в письме к отцу я умолял его о прощении; я не скрыл ни одного своего проступка. А где чистосердечие, там сострадание и помощь. Простимся, Мориц! Мы видимся сегодня в последний раз. Почта пришла. Отцовское прощение уже здесь, в стенах города.

Входят Швейцер, Гримм, Роллер, Шуфтерле,
Рацман.

Роллер. Знаете ли вы, что нас выслеживают?

Гримм. Что нас могут схватить каждую минуту?

Карл Моор. Меня это не удивляет. Будь что будет! Не встречался ли вам Шварц? Не говорил ли, что у него есть письмо для меня?

Роллер. Что-то такое говорил. Он давно тебя ищет.

Карл Моор. Где он? Где, где? (*Порывается бежать.*)

Роллер. Постой! Мы велели ему прийти сюда. Ты дрожишь?

Карл Моор. Нет! Отчего бы мне дрожать? Друзья, это письмо... Радуйтесь вместе со мной! Счастливее меня нет человека под солнцем! Отчего мне дрожать?

Входит Шварц.

(*Бежит ему навстречу.*) Брат! Брат! Письмо, письмо!

Шварц (*подает ему письмо. Моор поспешно его распечатывает*). Что с тобою? Ты белее мела.

Карл Моор. Рука моего брата!

Шварц. Да что это со Шпигельбергом?

Гримм. Малый рехнулся! Дергается, как в пляске святого Витта.

Шуфтерле. У него ум за разум зашел! Похоже, что он сочиняет стихи.

Рацман. Шпигельберг! Эй, Шпигельберг! Не слышит, скотина!

Гримм (*трясет его*). Эй, парень, ты бредишь, что ли?

Шпигельберг, в продолжение всего разговора сидевший в углу и жестикулировавший, как человек, занятый разработкой сложного плана действий, стремительно вскакивает, кричит: «La bourse ou la vie!»¹ — и хватает за горло Швейцера, который преспокойно отбрасывает его к стене. Моор роняет письмо и выбегает как безумный. Все вскакивают.

Роллер (*вслед ему*). Моор! Куда ты, Моор? Что с тобой?

¹ Кошелек или жизнь! (*фр.*)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗБОЙНИКИ. Драма в пяти актах <i>Перевод Н. Ман</i>	5
КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ. Мещанская трагедия <i>Перевод Н. Любимова</i>	171